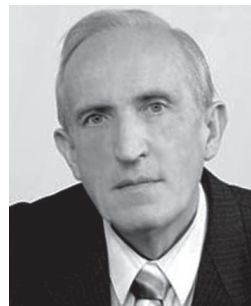


Юрий Сальников



ЗАБЫТЬСЯ И ЗАСНУТЬ

Ветер выл в холодной печи. Раскалённый сухой с протяжными всхлипами и стонами тихо изнывал, как молодой повеса, что с безоглядностью нерастраченных сил предаётся горестям потери первой любви, усиливаемым коварством её предательства, подлым вероломством, которые, будто чёрным крылом пыльной бури, затмят белый свет, обратив все надежды в дым, улетевший в трубу. И в душе возникнет ответный звук, точно сквозная разверзшаяся рана.

Мать вошла в комнату, растерянная, с растрёпанными волосами от внезапно разгулявшегося по улице урагана, листок серой бумаги приметно дрожал в её пальцах.

– Ты что натворил? – напустилась она с порога. – Тебя к следователю вызывают.

Поглощённый величавым хором скорбных стенаний, завывавших в печной трубе, а точно в самом себе, сын обернулся, долго понять ничего не мог, вертел, разглядывая протянутую ему повестку, где фиолетовыми чернилами в первую строчку действительно вписана его фамилия.

Наконец спохватился:

– Свидетелем же!.. Не страшно.

– В какую историю ты умудрился вляпаться? – не могла успокоиться мать. – Пусть и свидетелем... А всё равно к следователю.

Переполох, вызванный у матери повесткой, внезапный её испуг и предубеждение к органам дознания были ничем не оправданными, и Максим не сдержал вялой усмешки:

– Могу не пойти, если хочешь. Кто заставит? Никому я ничем не обязан, и принуждать не вправе. Хотя, конечно, довольно-таки странно всё это.

– Нет, пойти-то нужно. Я расписалась в получении, – спохватилась мать, но наставляла, держась с перепуга своей стратегической линии. – Только лишнего ничего там не говори. Не вздумай! Одно тверди: знать, мол, не знаю, ничего не ведаю. Так надёжней будет. И стой на своём непоколебимо. А то в историю какую-нибудь впутают. Бандюг ловить, всяких душегубов им, понятно, ума и ловкости недостает, а заморочить голову, у кого она без затей и хитростей – известные мастера! Не знаю – и всё тут...

Максим в этом году школу окончил. Всё лето отдыхал от зубрёжки, от нервотрепок выпускных экзаменов, валялся на старой железной кровати в саду, укреплял себя



черешней, вишней, что свисали спелыми гроздьями с веток – руку лишь протяни и ублажай себя вдосталь полными горстями! Или румяной сочной столовкой можешь угощаться, россыпью которой устлана от щедрот земля, а хочешь – пупырчатыми огурцами с грядки или пунцовым, сахаристым в разломе помидором. Дом у них с матерью свой, пусть небольшой, зато приусадебный участок есть. Выручает, хоть и достаток в семье, прямо скажем, невелик. Милое дело – житьё на земле, не то что сидеть взаперти в бетонной клетке какой-нибудь многоэтажки!.. А когда надоело бить баклуши, на курсы записался шофёров. Подходящее со всех обозримых сторон занятие – баранка, и рукам – работа, и голове, всегда в коллективе и вроде как сам себе начальник. Опять же, скоро в армию, а там шофёрить – лучше всего... Вообще-то тайный кумир его – Диоген. Тот, который жил в пустыне. В бочке. Когда посетивший мудреца Александр Македонский посулил ему несметные богатства, тот небрежно и веско сказал: «Посторонись! Не заслоняй солнце». Так-то!.. Занятия философией, понятно, увлекали юношу, задумывающегося о жизни, склонного размышлять о субстанции и сущностях, о природе вещей и доброй воле. Мирный нелюбитель авантюрных приключений, бывших в неизменном почете у сверстников, готовых на любой конфликт с законом – лишь бы отличиться дерзостью, выделиться наперекор всему и вся, – он понять не мог, с какой стати повестка?

С тем же простодушным недоумением, проступавшим неизбежно, несмотря на напускную развязность, вызывающую прическу поклонника западной моды, гнилого индивидуализма, он вошел в кабинет следователя, а тот, приподняв лысоватую голову над ворохом бумаг, разумеется, не испытывал ни малейшего доверия к вошедшему подростку, наивно моргавшему белёсыми ресницами.

– Не догадываешься, зачем приглашен?

– Понятия не имею, – чистосердечно признался он.

– Оно, может, и так, – покладисто согласился утомлённый бумажной рутинной следователь Неупокоев. – Припомни, пожалуйста, на прошлой неделе ничего с тобой не случилось? Ну, такого, что могло бы заронить, как говорится, подозрение. Не произошла ль странность какая-нибудь или казус?

– Да ничего особенного не приключалось, – уверенно отвечал он.

– Понимаешь, – пояснил задумчиво следователь, – в городе извращенец какой-то объявился. Маньяк или шизик, одним словом, сатана в человеческом облике. Ты ничего об этом не слыхивал?

– Нет, – твердо стоял Максим, как наставляла мать. Впрочем, это действительно не грешило против истины, ибо ему, поглощённому своими переживаниями, было как-то не до пересудов, не до городских сплетен.

– Как же! – криво усмехнулся следователь. – Весь город об этом только и судачит, языки распухли в растабахарах.

– Не слышал.

– Затащил, мразь, девушку в подъезд, надругался, а потом ещё несколько раз ножом пырнул, отчего она и скончалась.

– Честно, не слышал.

– Дело в том, что это произошло в прошлую субботу, под вечер, в том подъезде, где одна твоя очень хорошая знакомая проживает. И ты к ней в тот вечер вроде приходил. Так уж получается, что по времени всё совпадает. Может, видел что? Может, повстречал кого? Вернее сказать, должен был увидеть. Не мог не увидеть. Сообщить об этом – твой гражданский долг, дело чести и совести, ибо подонки

сей на свободе гуляет, возможно, именно в этот момент новую выбирает жертву. Ты вдумайся в факт. Не спеши с ответом.

– Нет, не видел.

– Говорят, мужчина какой-то крепкого телосложения, в очках, с портфелем вышел из подъезда, а следом парень шмыгнул. По приметам – ты. Точно – ты. Выходит, не мог не заметить. Пусть краем глаза, мельком. Для следствия сейчас любая, самая мало-мальская деталь важна. Зацепку могла бы дать.

– Нет, не обратил внимания.

– Значит, был-таки в подъезде?

– Нет, не был, – отрезал он, как советовала мать, и это было неправдой. Чистой воды – ложь. К чему впутываться, в самом-то деле, в эту историю, если она такая гнусная, отвратительная? Подальше лучше держаться.

– Ну, это уж ты зря, – с явным сожалением шумно вздохнул следователь.

– Предупреждаю, уклонение от дачи показаний, гражданин Подобед, чревато серьёзными последствиями. Пригласите свидетельницу.

В кабинет вошла Еленка, в которую Максим был без памяти влюблен ещё с восьмого класса и к которой действительно приходил вечером в прошлую субботу, колотился в дверь, трезвонил, но она не открыла. Не захотела, поди, открывать, хотя ему показалось, кто-то был в квартире, оттого он долго мялся у порога, не уходил.

– Что скажет свидетельница по этому поводу? Надеюсь, вас представлять не надо? Как-никак в одном классе учились.

– Да, – опустив голову, призналась свидетельница, – он приходил в тот злополучный вечер.

– Почему вы считаете, что находящийся здесь гражданин приходил к вам? – официальным тоном, чтобы показания были занесены в протокол, допытывался следователь. – Ну, коль дверь была заперта?

– Я в глазок посмотрела.

– Выходит, ты дома была, а почему дверь не открыла? – удивился невольно Максим.

– Видишь ли, – подняла она голову и посмотрела откровенно ему в глаза, – я скоро замуж выхожу, а ты этого понять не хочешь. Пришел не ко времени да ещё в дверь трезвонил. Никак понять не можешь, что детская влюбленность прошла, а началась настоящая взрослая жизнь. И ничего тут не изменишь, не обратишь вспять...

Наверное, этого признания он больше всего на свете и страшился. Догадывался, что-то произошло, какая-то чёрная кошка пробежала между ними, внезапная отчужденность возникла, которую не скроешь, как ни старайся обмануть себя, к каким ухищрениям и уловкам ни прибегай, а в глубине души всё равно понимаешь – не обмануть. Об этом он и хотел поговорить в тот вечер всерьёз. Готов был к худшим из откровений, а признание всё равно озадачило. Вытаращил глаза, слова произнести не может.

– Да, это так, – наконец выдавил из себя Максим, – я приходил, но она мне не открыла дверь. Я стал спускаться вниз и видел мельком мужчину, что вышел из-под лестницы. Лица не разглядел – темно уже было в подъезде. Про себя лишь подумал с недоумением – что он там мог делать? С виду вроде солидный, в очках, с портфелем. Бачки у него такие, чуть с завитками, рыжеватые. Вроде

на бухгалтера похож, хотя есть что-то в облике такое... Ну, как у авторитетов. Что подавляет...

– Видишь, как замечательно! – обрадованно воскликнул следователь. – Рыжеватые бакенбарды – тоже важная деталь. Очень нужная!.. Если ещё что вспомнишь, тут же звони... С протоколом, пожалуйста, ознакомьтесь и подпишите...

Еленка убористо расписалась, следом Максим поставил роспись, и вместе они вышли на улицу.

– Что ж ты мне раньше не сказала, что замуж выходишь?

– Я пыталась, а ты и слушать не хотел... Просто это всё так внезапно произошло... Не знала, как тебе об этом сказать, чтобы ты не сильно расстроился...

– Вот ещё! С какой стати стал бы расстраиваться?

– Ты и сейчас даже в лице переменялся. Не переживай. Это взрослая жизнь, и не всё в ней так, как представлялось в школьные годы... Они, конечно, были чудесные. Но они прошли, и всё тут!..

– Да я и не думал вовсе расстраиваться. Этого ещё не хватало! С чего взяла?.. Желаю тебе счастья... На свадьбу только, пожалуйста, не приглашай. Хорошо?

– Ладно, не стану... Знаешь, ты только не обижайся, что я следователю про тебя рассказала. Просто как подумаю, что эта мразь ходит сейчас по земле, так не по себе становится.

– Всё нормально. Пока!

– Обещай, что не будешь расстраиваться.

– Да полно! Будет тебе... Прямо достала. Салют!..

С какой ему стати расстраиваться? Вот ещё! Слишком вы, сударыня, высокого мнения про свою несравненную персону. Шибко было нужно страдать и убиваться!..

Шёл он, глотал кипевшие слёзы, зачем-то в гастроном завернул, купил бутылку водки, которую затем и выпил прямо из горлышка один – с горя! – на скамейке в сквере. За всю предшествующую жизнь не выпил столько. Если рюмки три пригубил прежде – да и то по большому празднику, точнее, по подстрекательству, как повелось в родных просторах. Стойко держался, не поддавался соблазнам, а тут всю бутылку осушил. Один. Да ещё натошак. Без закуски. Так уж на душе было черным-черно и скверно... Ну и развезло, конечно...

Кто не знал сердечных утрат, кто не испил злой пустоты и безнадёжности отвергнутого самого лучшего и искреннего чувства, пусть снисходительно усмехнётся шаткой походке, которой кружил Максим за полночь по пустынным улицам, и не по тротуарам, а прямо посередине мостовой. Пусть, кто поднаторел и прожжён от измен, усмехнётся неопытности, не разделив сочувствием безутешной бравады, что прорывалась сипло сквозь удушье подступавших рыданий: «Выхожу один я на дорогу...» И горько было, что один, и что ночь светла, как в знаменитом романсе. Пронзительно было и ясно, блестел чуть размытый по краям кремнистый путь, в бездне высокого неба звезда с звездой говорила, а на душе царила беспросветная мгла...

Он упал на тёплый, вышарканный автомобильными шинами асфальт, и не было сил подняться, лежал и смотрел на звезды. Любая шальная машина могла раздавить потерявшего над собой контроль бедолагу. И хотя он сознавал это, а всё равно лежал и думал – ну и пусть раздавит, если жизнь отныне потеряла всякий смысл.

Двое парней, возвращавшихся с поздней гулянки, посочувствовали, подняли его, оттащили на обочину, а он, размазывая по щекам слёзы, объяснял заплетающимся языком, что любовь его умерла. Прошла, как с белых яблонь дым... Парни сочувственно кивали головами, мол, бывает, перебрал немного. Нет, доказывал он, совершенно умерла, окончательно и бесповоротно... С вероломством предала. Если бы вы только знали, какая это неприглядность, какой мрак и горький привкус – подлое предательство!.. И теперь ему незачем жить. Только б забыться и заснуть...

Парни, хотя и поиронизировали про явный хмельной перебор, отнеслись на редкость сочувственно к бедственному положению. Куда уж плачевней – на ногах стоять не мог! Долго выпытывали, где он живет, потом подхватили под руки с двух сторон, потащили, тяжело отдуваясь, а он невнятно куksился, горланил с протяжными руладами:

– Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Мать, открыв на стук дверь, всплеснула руками, пришла в ужас при виде сына в таком состоянии. Принялась отхаживать, приводить в чувство – по щекам хлестала, принуждала пить тёплую марганцовку, промывала желудок, а он всё хныкал, оправдывался – не жилец он, пожалуй, теперь, ибо внутри будто оборвалась какая-то нить...

Понятно, разговор с матерью на следующий день был весьма нелицеприятным – стыд и позор, расписался как тряпка, разве это дело, куда годится – из-за девчонки так убиваться. Ну и пусть замуж выходит, разве это повод, чтобы терять самого себя и человеческий облик?

Да и разговор со следователем оказался незавершённым. Весьма неожиданное получил продолжение. Оказалось, что произошло новое убийство. Всё по той же известной схеме: удавка, изнасилование, многочисленные ножевые раны. Хотя в другом районе города, на заброшенной стройке, но почерк явно схожий. При этом следователь поглядывал как-то странно, принялся въедливо допытывать, где был Максим в это время, что подделывал? Тот недоуменно пожимал плечами: ничего не подделывал, пришел с курсов, уснул на диване. Мать на работе была, вечернюю почту разносила, может, кто и видел из соседей, только вряд ли – огородом зашёл, чтобы сократить дорогу, а вы почему об этом спрашиваете? Алиби требуете? Это ж вы на что, собственно, намекаете?

Следователь головой крутит – никакого, выходит, алиби нет. Дело в том, что в своих показаниях Максим обрисовал портрет извращенца с рыжеватыми бакенбардами, а у жертвы в руке оказался пучок совсем иных волос.

Он скользнул усталым взором поверх макушки собеседника и невольно осекся:

– Что с твоей шевелюрой?

– Модная прическа, – слегка покраснел тот, чуть смутившись. – Разве нельзя?

Уголовное дело?

– Не язви... Просто волосы, пучок которых был зажат в руке жертвы, такие же, в точности, как у тебя.

– Ну уж вы того... Скажете! – густо побагровел Максим и в тот же миг весь похолодел от внезапной догадки – куда следователь клонит, на что намекает.

Воспользовавшись неловкой паузой, Неупокоев вышел из-за письменного стола, приблизился сзади к Максиму и неожиданно клацнул ножницами, которые неизвестно как оказались у него, отхватил у новоявленного поклонника западной моды торчавший на затылке клочок.

– В лабораторию нужно будет отдать, – пояснил невозмутимо. – Кое-какие анализы сделать. Так полагается...

От бесцеремонности, с которой это всё произошло, от зловещего подозрения в гнусности, какую он не то что не совершал, но и никакого отношения к ней не имел, Максима охватил ужас, холодный пот прошиб. И тут вспомнилось, как в тот роковой вечер после настырных стуков в дверь, за которой слышались чьи-то вкрадчивые шаги, он, движимый смутным, как жест отчаяния, побуждением, зашел в парикмахерскую, ибо понял, что любовь его умерла, и велел обкорнать себя под заблудшего панка, уставшего жить – уж коль такая злосчастная доля отвергнутого изгоя, то пусть и внешность соответствует! И когда кудри посыпались на белую накидку, кто-то из посетителей, проходя мимо, вроде запнулся, толкнул его неловко с поспешными извинениями. Он недоуменно обернулся и тогда, разумеется, не придал значения, а теперь вдруг вспышка бокового зрения высветила завитки бакенбард, что видел перед этим у мужчины, выходившего из-под лестницы и промелькнувшего в дверном проёме подъезда. Может, маньяк следил за ним? Хотел избавиться от свидетеля, а тут, увидев в кресле парикмахерской, смекнул догадливо, что вовсе нет нужды пускать в ход удавку или нож, а достаточно на месте следующего преступления оставить один волосок? Вполне достаточно, чтобы направить следствие иными путями...

– Какой резон мне было совершать преступление в подъезде, где живет любимая?

– Знаешь, а этот мотив как раз проще всего объясним загадками человеческой психики. Отвергнутый возлюбленный способен на поступок, который и вообразить невозможно. Психологический срыв на почве несостоявшейся, неразделённой любви может принять самые чудовищные, извращенные формы. Тут всё нормально для объяснения невменяемости, а дальше – покатило-поехало, как засасывает водоворот... Произведем анализы, и всё сразу прояснится, станет на свои места.

Они вышли в коридор, намеревались куда-то направиться с коробочкой, в которой лежала прядь остриженных волос, но в этот момент кто-то позвал Неупокоева, он зашёл в кабинет, а Максим, помявшись нерешительно с ноги на ногу, неожиданно направился к выходу.

Постовой отвлёкся, объясняя что-то глуховатой старушке, а Максим Подобед с невозмутимым видом проскользнул мимо и оказался на улице. Если на месте преступления в руке жертвы окажутся его волосы, то он, разумеется, ничем не докажет своей невиновности. А если это серийный убийца, и теперь на месте каждого преступления станет оставлять по волоску?

Он опрометью кинулся в соседний двор, схватил стоявший у дерева дамский велосипед, вскочил на него, слыша вдогонку истошный рёв девчушки, но не оглянулся, принялся крутить вовсю педали. Петлял задними дворами, переулками, стараясь не выезжать на магистральную улицу, где легко могла настичь погоня. Крутил, крутил педали, задыхался от дурноты и безысходности – за что судьба

отнеслась к нему так жестоко? Мало показалось, преподав урок предательства любви, так ещё под высшую меру, творя произвол, вздумала подвести?

Наконец он бросил велосипед в кустах, пробрался через свой огород, кинулся в дом. А куда ещё было бежать? Без документов, что остались в кабинете следователя, без денег.

– Ма-а-м! – диким голосом заорал он с порога. – Спаси меня... Спрячь... Укрой меня где-нибудь...

– Что стряслось? – выбежала перепуганная мать, вся перемазанная глиной.

Она печь перекладывала. Давно собиралась, да руки не доходили. А скоро зима... Мария Ивановна, между прочим, классный печник! Отец её вернулся с фронта инвалидом, без помощника в печной кладке никак не обойтись – от дома к дому стала с ним ходить подмастерьем, понемногу приглядывалась, до тонкостей освоила профессию. «На хлебушко насущный, по крайней мере, завсегда сможешь заработать нашим ремеслом!» – говаривал отец и с этим напутствием успокоенный отошёл в мир иной. Так оно действительно и было в ту пору. Правда, печи вскоре перестали класть, водяное отопление с чугунными котлами их вытеснило из домов, в печниках надобность напрочь отпала, приказала долго жить некогда добротная профессия. Пришлось в почтальоны переквалифицироваться, но не забылась, понятно, наука. Утром начала перекладывать, а к вечеру была печь готова, подсохнет – и начинай новую жизнь, кормилица!..

– Объясни толком, что произошло? – кинулась она обнимать трясущегося от страха сына.

– За мною гонятся. Под высшую меру хотят подвести... Понимаешь... Маньяк какой-то убивает, а в руку жертвы мои волосы подкладывает. Он украл их, когда я в парикмахерской стригся... Спрячь меня куда-нибудь.

– Куда спрячешь-то? – мечется по кухне перепуганная мать. – Хоть на чердаке, хоть в подвале, всё одно найдут, когда обыскивать станут.

– Ты вон за печкой полки хотела устроить для посуды... Давай я там присяду, а ты заставишь меня кирпичами. Щелку только понизу оставь, чтобы водицы можно было просунуть в блюдце. Да хлебушко крошить. Мне-то много не нужно. Забыться да заснуть...

Так и сделали. Времени-то не было, чтобы какой-нибудь иной придумать хитроумный план. Успеть бы этот воплотить. Хорошо, что раствор был готов и кирпичи припасены в достатке. Проворно работала мать, руки только мелькали, мастерок сноровисто летал, кирпичи ложились ловко один к одному, закладывая нишу меж стеной и печкой, где укрылся гонимый судьбой бедняга.

– Ножницы нужно было тебе дать, – спохватилась мать напоследок как о предмете первой необходимости.

Просунула ножницы, принялась закладывать последний кирпич, а Максим подумал ненароком, глядя, как скрывается последний луч света: «Накаркал на свою голову! На всю ивановскую орал – забыться и заснуть... И пожелание загадывал – но не тем холодным сном могилы... Вот и сбылось, как просил. Недаром говорится, каждый то и получает, что себе пожелает...»

Тут с грозным ревом моторов и синими мигалками на крышах машин подлетели к калитке оперативники, выхватывали из кожаных кобур пистолеты, размахивали ими в воздухе с перекошенными от благородной ярости лицами:

– Где твой сын, мать? Сознawайся!

Она, перестав штукатурить, отвечала с невозмутимостью:

– Так он же к вам пошёл. Как велено, так и направился, он у меня приученный к дисциплине. Вы уж хоть в этом не сомневайтесь.

– Ещё не возвращался?

– Нет, не приходил. Вы-то на автомобилях, а он, чай, на автобусе или пешком.

Может, к приятелю какому зашел, мало ль дел...

Следователь Неупокоев, запыхавшийся от бега, злой от досады на свою непростительную оплошность, но сдержанно вежливый, по комнатам похаживал, заглядывал во все углы. Оперативники на чердак лазали и в чулан, по всему огороду прошлись, буквально под каждый лист ботвы заглянули, но ничего не нашли.

– А ты что, печку перекадывала? Сама мастерица? – демонстрирует свою догадливость дотошный Неупокоев.

– Печники-то нынче, считай, все перевелись. Не сыскать. Своими силами обходиться приходится. Отец научил.

– Ладная печь, – оценил следователь со знанием дела. – Как заявится сын, ты, мать, нам вот по этому телефону дай знать. Это в ваших интересах. Он нам кое-какие анализы должен сдать. Ничего страшного. Обычная процедура.

– У меня-то и телефона нет. А в телефонной будке трубка давно с мясом вырвана шпаной какой-то, – пыталась она отговориться, да неловкость вышла.

– Ну, коль так, мать, если не возражаешь, пусть наши люди какое-то время тут побудут. Шибко нужен твой сынок. Прямо позарез...

– Пусть сидят. Мне-то что. Не жалко.

Она наскоро добелила печь и простенок, отправилась на огород. Две бордовых свеклы выдернула с грядки, кочан ранней капусты срубила. Очистила свеклу, листья капусты накрошила на дощечке, борщ поставила варить на газовой плите. Потом кормила очистками козу, которую держала, чтобы свежее молочко было в доме, курам бросила травы да горсть зерен. Всё по хозяйству сделала, на службу стала собираться – распорядок у неё такой: с утра разнесет почту, в середине дня с кое-какой домашней работой справится, затем вечернюю разносит почту, а оперативники, расположившиеся в гостиной, вскинули настороженно брови:

– Это ещё куда? Не соображаешь, женщина, что тут засада? Не положено никому отлучаться. Сигнал ведь можешь кому передать, спугнуть добычу. Сиди-ка тут смирно, ничего с твоей корреспонденцией не случится. Чай, не прокиснет, не скоропортящийся продукт.

– Кто газет не читает – не скоропортящийся... Могу и не пойти под вашу ответственность. Только мне чтоб прогул потом не записали...

– С нами будешь трудодень зарабатывать, – зубоскалят те. – В почётном карауле.

– Только вы уж, родненькие, не стреляйте моего, как появится. Он у меня смирный. Мухи не обидит.

– Будет тебе, мать, байки нам рассказывать. Говорят, изувер, каких свет не выдывал, с особой жестокостью творит свои кровавые дела.

– Кто это вам такое наплёл несусветное? Да вы у соседей хоть расспросите или в школу б сходили. Явно с кем-то путаете...

– Не выгораживай. У него, говорят, несчастная любовь была, вот он и свихнулся на этой почве... Крыша поехала! Для матери, понятно, любой изувер – всё равно дитя. Ни под каким видом не объяснить, ни за что не поверит, сколько

людей порешил, глумясь, душегуб. Только мы-то тебе не лопухи какие-нибудь или простофили...

Весь вечер сидела засада и всю ночь, однако «душегуб» так и не появился на порог. «Матёрый, по-видимому, зверь, – судачили между собой оперативники, – учуял неладное. Матёрые всегда чуют».

На всякий случай они ещё день сидели и ещё ночь. Тут уж терпение лопнуло у добросовестного работника почтовой службы, мол, как хотите, поселяйтесь здесь, живите, а у меня за свою службу душа болит. Те связались по рации с начальством, обрисовали ситуацию, мол, хитёр подонок, не сунет носа...

– Ладно, – согласился в расстроенных чувствах Неупокоев, – пусть мать, если что, с почты звонит, уж там-то есть телефон...

Уехали оперативники, а мать ещё долго сидела ни жива ни мертва. Неужто пронесло? Неужто никто не заподозрил? Как тебе там, сынок? Жив? Не задохнулся? Удобств, конечно, маловато, но что поделаешь. Деваться-то всё равно некуда, надобно крепиться, как-то выживать.

– Я, Максимка, козьего молочка налью тебе в блюдечко да хлебушка покрошу, а сама почту пойду разносить. Кипы, поди, скопилось корреспонденции.

Вскинув на плечо огромную сумку, набитую газетами, журналами, письмами, она отправилась от дома к дому привычным маршрутом, и продолжалась жизнь...

Вернется с работы усталая, с гудящими ногами от долгих пеших походов, посмотрит первым делом, а блюдечко у печки пустое стоит. Неужто поел? Неужели жив-таки? Хоть бы пронесла эта злая напасть. Хоть бы как-то всё уладилось. Не может, в конце концов, не уладиться, ведь не изверг же он, не изувер рода человеческого. Время пройдет, и всё выяснится. Время лечит...

Следователь Неупокоев как-то навевывался, с подозрительностью всё оглядывал, всё кружил, страхов нагонял, мол, ещё жертва обнаружилась со схожими следами насилия. Правда, за городом на сей раз, в лесополосе. И никаких примет. Даже волоска не оставил. До чего осмотрителен стал и изворотлив!.. Между прочим, анализами в лаборатории доподлинно установлено, что пучок волос, состриженный сускарём, то бишь вашим покорным слугой, с головы твоего отпрыска, точно такой же, что остался в руке жертвы, замученной на стройке. Сомнений быть не может – одному лицу принадлежат. Такие вот пироги! Явка с повинной могла бы отчасти облегчить участь. Да и сколько людей, ни в чём не повинных, спасла б... Как этакую нечисть и земля носит!..

Ушел следователь, а мать долго плакала навзрыд, билась головой о стену печки, выпытывала, может, вправду сдадимся, сынок? Зато жизнь сохранят.

– Нет, – отвечал он приглушённо в трещинку зазора, – лучше уж так, чем каторгу, всякие унижения и бесчестия ни за что ни про что терпеть.

– Может, как-нибудь по-иному переделать печку? – допытывалась она. – Поудобнее?

– Нет, – отвечал сын, – ничего мне не надобно. Вот кабы только кусочек звездного неба.

– Ну, это не сложно, – согласилась она. – По ходу дымохода сооружу дополнительный колодец, и смотри сколько душе угодно, наблюдай!..

С той поры обзавелся Максим квадратиком неба, пусть крохотным, но в котором по ночам была видна живая, подмигивающая в загадочном сверкании алмазная

россыпь звезд. Это могло бы показаться прихотью, досужей блажью, зато немало-важной, надобно заметить, поскольку отныне даже в темнице своего заточения в распоряжении узника чести были две самые важные вещи, которые, как известно, чем чаще и продолжительнее размышления о них, тем более всего поражают: тайна звёздного неба над головой и нравственный закон внутри нас...

А ещё репродуктор привесила мать в углу печки, так что если включить погромче – новости слушай, разные передачи, музыку, песни. Случалось, отставит свои нескончаемые домашние хлопоты притомившаяся мать, присядет у печки, прижавшись спиной к теплой стенке, всплакнёт потихоньку, а потом напевать станет, как пела некогда над детской кроваткой, и далекий слабый голос подпевает приглушённо, едва слышно.

И тогда безысходность и отчаяние сменяются всплеском тихого спокойствия, которому, наверное, лишь тогда и дано наступить в нашей суматошной, никчемной жизни, когда оставит последняя надежда. Напрочь покинет, а жизнь – несмотря ни на что – продолжается, и сквозь туман кремнистый путь блестит...

Однажды Неупокоев, старый, обрюзглый, смущенно переминаясь с ноги на ногу, постучал в калитку ворот. Выглянула мать в окно, обомлела, руками всплеснула – сколько ж это лет минуло? На себя в зеркало взглянуть недосуг, а года-то, оказывается, вон как мчат, не догнать бедовых...

– Какими судьбами? – приоткрыла калитку старенькая сгорбленная женщина, и руки её сильно тряслись, должно быть, от волнения. Никак не сообразит, чем вызван странный визит? Что сулит?

– Да вы не волнуйтесь. Я проездом. Вечером на другой поезд должен пересесть, дай, думаю, зайду, проведу... Да вы не переживайте, не нахохливайтесь так – я давно уже не у дел. На пенсии.

– А-а, вон как! – с явным облегчением, против воли обрадованно воскликнула Мария Ивановна. – Ну, тогда проходите. Я вас чаем угощу...

– Прежде бы не стали предлагать? Так выходит?

– Право, не за что привечать.

– Ну, не скажите. Кое-какие заслуги имели. На страже честно стояли. Покой страны защищали. Теперь-то я на пенсии. В Москве живу. Между прочим, преступника, что вашего сына поначалу подставлял, я поймал-таки. Пять лет гонялся за оборотнем, но словил. Меня за это, считай, и в Москву перевели, в отдел «глухарей», как у нас называют безнадёжные, нераскрытые дела. Немало их мне удалось довести до логической точки. А вы говорите, заслуг не имеем.

– Поймали, выходит, того негодяя? – спрашивает она гостя, усаживая за стол, а сама едва не задохнулась от волнения, даже во рту пересохло. – Я чайник на огонь поставлю, немного подогрею, а то совсем остыл.

– Стыдно сознаться, но следствие поначалу ложным пошло путём. На вашего сына указывали все улики. Сколько я ночей не спал, сколько самых хитроумных силков ни расставлял, а всё уходил мерзавец от преследования, всё новые, чудовищные творил злодеяния. То на заброшенной стройке совершит, то в лесополосе за городской чертой, а почерк всё тот же, как затверженный урок – удавка, изнасилование в извращённой форме, ножевые раны... Однажды даже милиционер остановил подонка на железнодорожной платформе небольшой станции, в паспорт заглянул и фамилию запомнил, хотя портфель осмотреть не удосужился, где были

нож, перчатки, удавка. Правда, он потом рапорт написал насчет своих подозрений в связи с происшествием на его участке, фамилию упомянул подозреваемого. Рапорт ко мне попал, с того и началась раскрутка «глухаря»...

– Варенье берите, – предлагает хозяйка, наливая гостю чая, а сама каждое слово на лету ловит, пропустить боится, как и выдать своё волнение. – Смородиновое варенье. Своя ягода. Отведайте...

– Знатное варенье! – нахваливал Неупокоев, прихлёбывая из чашки горячий чай, и продолжал неспешное повествование: – По фамилии мы его и задержали. Прямых улик против него не было, лишь косвенные подозрения, но он неожиданно начал давать показания. Просто я на первом же допросе, подивившись количеству диких изуверств, обронил вскользь, что на такое способен лишь тяжелобольной человек, с отклонениями в психике. Ну, которого не казнят, а лечиться в психушку направляют, он и стал давать показания, полагая, что больным признают. Поразительную память при этом показал, каждое преступление в мельчайших деталях и подробностях, оказывается, помнил, подробно обрисовал. В том числе и то, в подъезде дома, когда твой сын оказался случайным свидетелем. Действительно, он следил за пареньком, а когда тот в парикмахерскую зашёл, чтобы подстричься из-за неудач своей первой любви, придумал эту хитрость с волосами. Ловко направил след по ложному пути.

– И что с ним стало?

– К вышке, как говорится, приговорили. Поделом! Никакой он не больной был. Просто долго симулировал сумасшествие. Выродок, одним словом... А вы что, до сих пор ничего об этом не знали? Про это все газеты писали и по телевизору показывали.

– Нет, не знали, – призналась Мария Ивановна. – Телевизор я редко смотрю, глаза стали плохи – так что и не до газет.

– Меня потом в столицу перевели, не успел вам ничего сообщить. На тяжелейший участок поставили, ни сна ни отдыха не знал, совсем закрутился... А в последнее время ерунда какая-то стала одолевать. Вроде на пенсии, чего, казалось бы, старое ворошить, тем паче, что все воспоминания из малоприятных. Что хорошего, если всю жизнь со всякого рода отбросами приходилось сталкиваться... Старался не вспоминать... А тут еду в поезде. В купе духота, у попутчика, как на грех, от носков несносный запах. Вздремнул было под перестук колес, да всё дурацкий бред преследовал... Кирпичная стена какая-то, а в ней будто живой человек замурован. Стонет, корчится, вызволить просит... Ерунда, в общем, такая... Проснулся в липком поту, сообразить ничего не могу, а лицо вроде какое-то знакомое. У меня, между прочим, хорошая память на лица... А стали к станции подъезжать, тут меня будто что-то толкнуло: не сын ли твой? Что с ним? Где он теперь?

Старуха помялась и неожиданно сказала:

– Здесь он. Никуда не сбегал. При мне жил, можно сказать, безвыездно.

– Как это? – не мог понять бывший знаменитый следователь. – Мы ведь всё обыскали. И потом ещё долго следили, не снимали, как говорится, наружного наблюдения.

– Тут он, – указала она пальцем на стенку рядом с дымоходом.

– Прямо в стене? С тех самых пор?

– С тех самых пор.

– Как же он это смог? Как сдюжил? Что с ним теперь случилось? Столько лет прошло... Неужто жив?

– Да я и сама его больше ни разу не видела. Не разбирала печку – опасалась, мало ль что... При мне и ладно. Матери для радости много ль надо... Покрошу хлебного мякиша на блюдец, козьего молочка налью, подсуну, а он потом пустым вытолкнет. Значит, жив.

Неупокоев поверить не может – неужто такое возможно, сроду о таком не слыхивал.

– Давайте вызволять нашего узника. Где инструменты?

Старая женщина принесла свои инструменты отменного некогда печника, и вдвоем они стали разбирать кладку. Один за другим высвобождали кирпичи, и первое, что увидели, это блеснувшие во тьме ниши глаза. Настоящие глаза.

Так и обмерли разом. Жутковато стало. Затем осторожно высвободили ещё несколько кирпичей и увидели лицо. Живое человеческое лицо. Кожа была совершенно белой, и что поразило – гладкой, без морщин, почти как и прежде – юной. Их-то, разбиравших кладку, жизнь превратила в дряхлых, морщинистых стариков, а на узнике вроде никак не сказалося заточение, каким был – таким и остался. Лишь озирался с диким, неопишущим испугом в глазах, будто затравленный зверёк.

– Не бойся, Максимка, – ласково успокоила мать. – Дело твоё, оказывается, давно закрыли. Ты не виновен. Тот, с бакенбардами, как ты и говорил, всё подстроил... Его больше нет. Так что не бойся. Ты свободен...

Они извлекли из ниши в кирпичной стене худого тщедушного человечка, перенесли на кровать, разглядывая удивлённо, не веря своим глазам. Одежда истлела, осыпалась, а кожа была ослепительно белой, молодой, как у семнадцатилетнего, будто не выпало жить во времена перемен, все житейские бури, пронесившиеся по земле, обошли стороной. Но что особенно поразило Неупокоева – ногти на тонких пальцах были аккуратно подстрижены, и короткая шевелюра на голове ухоженной.

– Это я ему ножницы напоследок дала, – пояснила мать, видя, как округлились глаза у бывалого человека. – Что подвернулось под руку, то и подала в спешке.

– Ты уж прости меня за оплошность, – тяжело выдохнул Неупокоев. – Таким уж на нашу беду хитроумным оказался гад. Всех сумел облапошить, ввести в заблуждение... Впрочем, он своё уже получил по заслугам. Сполна! Как же это тебе удалось выжить?

Максим приоткрыл тонкие немощные губы, не то простонал, не то тихо пропел:

– «Но не тем холодным сном могилы...»

– А-а... Романс есть такой... «Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь...»

– Первая любовь его предала, – пояснила мать. – Вот он и не хотел ничего от жизни... Лишь забыться и заснуть...

– Поразительно, как человек может выжить в таких условиях! – не мог поверить Неупокоев, а Максим Подобед долго силился, будто пытался придать особую точность формуле, над которой думал многие годы, созерцая тайну звездного неба и ту, что внутри нас, наконец прошептал едва внятно:

– Человек сам не знает... Не знает, на что он способен... Когда любит... Когда жива душа... Мое самое заветное желание – не без вашего участия! – сбылось... А ваше?.. Всю переловили нечисть? Хорошо ли стало жить на земле?

Но вопросы эти так и остались висеть в воздухе без ответа, ибо двое стояли перед лежавшим на кровати, укрытым одеялом человеком, смотрели на него, будто загипнотизированные, и не могли произнести ни слова.

Юная кожа на бледном лице собиралась в складки, волосы становились белыми, сидели буквально на глазах. Как ни прячься, как ни укрывайся, а жизнь возьмет своё. Никому не миновать, не избежать расплаты, что, настигнув, обращала безутешного влюбленного в старика...

МЕСЯЦ ПАДАЮЩИХ ЗВЕЗД

Оперировать предстояло неудачника.

Обидное, острее бритвы слово слетело в запальчивости с губ красивой женщины. Понятное дело, сказанное в сердцах, оно было отчасти прощительным, поскольку могло означать что угодно. Жалость. Испепеляющее презрение. Даже обожание, ту неизъяснимую прежде тайную нежность, что вдруг обнаруживается нечаянно, как горящие угли под стылой золой, едва возник намек на возможное скорое расставание навек.

Пока скальпель не коснулся распластанного на операционном столе брэнного тела взмахом суровой, безжалостной стали, которой, разумеется, всё едино – ну-тро негодяя или гения, исход операции, хоть и чреват последствиями, но еще не ясен. Зато содрогание неравнодушного чувства, опередив события внезапным предчувствием худшего, умчит воображение вихрем панического ужаса в царство теней, будто рыская там загодя в участливых поисках пристанища для хорошего человека, подходящих для него условий, удобств и тех, с кем ему общаться...

С разметавшимися прядями русых волос, в белом халате, накинутом небрежно на плечи, посетительница ворвалась в палату, почти с порога швырнула изящную сумочку к ногам возлежавшего скучно на кровати Репьёва. Руки её уперлись в упругие бока, локотки оттопырились ретиво, с вызовом, точно намеренно демонстрируя отнюдь не сострадательную позу.

– Ну, и чего ты добился? К какому неутешительному пришел результату? Можешь ли хоть сейчас оценить по достоинству и нелицеприятно? Тут двух мнений быть не может – свет не видывал такого неудачника! Ничегошеньки не сделал, не довёл до ума, а растекся лужей, превратился в полную развалину. А теперь что? Теперь тебя и оперировать станет отнюдь не светило хирургии – не надейся, пустых иллюзий не питай! – а, скорее всего, практиканту какому-нибудь поручат. Пусть, мол, поучится. Жалко, что ли? И непременно зарежет!..

– Что вы такое говорите, Римма Михайловна? – вяло протестовал Репьёв, застигнутый врасплох внезапным визитом, как уличённый в упадке духа, когда возразить нечего, лишь остается невнятно отрещиваться. – Слушать невозможно!..

– Ах, какие чуткости! Грубая правда их, видите ли, корбит... А лицезреть всё это возможно? – И с непоколебимостью в голосе настаивала на своём: – Непременно зарежет!

– Ну, право, вздор какой-то! Несуразность...

– А ты всерьёз полагаешь, что со всяким станут носиться? Заботу проявлять, нянчиться, окружать вниманием – чего изволите-с?.. Наивный человек! Святая простота!.. Только я не допущу, не позволю на самотёк всё пустить по воле волн. Добьюсь, чтобы только Георгий Ростиславович – и никто другой! – оперировал...

Она схватила сумочку, также энергично удалилась, оставив пряным ароматам кружить в воздухе, куролесить, возмущать завихрениями тягостный дух палаты, настоящий на горечи лекарств, надсадных вздохах, неприятных запахах...

На помятой подушке желтоватое, худое лицо Репьёва скорбно вытянуто, заострено чертами, точно иконописный лик на тёмной старинной доске из липы. Репьёв сконфужен. Он представляет, как эта напористая женщина с высоко вздымающейся грудью и рдеющими от благородного порыва щеками вышагивает по коридору, не уклоняясь от намеченного курса, да так решительно, что всякому встречному, невзирая на чин и звания, надлежит посторониться. Представляет, как, вскинув грациозно голову, уверенная в собственной неотразимости, она входит в кабинет заведующего хирургическим отделением, вернее, вторгается, не унижившись до слезливого лепета или криков с порога, но выставив вперёд полусогнутую руку, где капризный мизинец чуть загнут и нарочито оттопырен, вроде с намёком на безусловное исполнение её малейших желаний...

Ему ль не знать! Эта женщина когда-то доводилась ему женой. Причем разрыв произошел достаточно давно и по-современному: мирно, без скандалов, истерик и упреков. Бывшая супруга переехала в дом по соседству, да так неудачно, что окна, разделённые пространством двора, смотрели отныне друг на друга – наблюдай при желании, как на ладони, что происходит в квартире напротив...

Утром едва проснётся Репьёв, снедаемый нетерпением окунуться в работу, согбенно и счастливо покорпеть за письменным столом, а телефон уже надрывается от трезвона... «Репьёв, ты почему трубку не берешь? Что за дурная манера! Проснулся, а почему не завтракаешь? Выпей, пожалуйста, кефира да яичницу зажарь с колбасой». «Римма, – упрямится Репьёв, – я ведь не малое дитяtko, чтобы за мною приглядывать и мною понукать». «Ты хуже дитяtko, – непререкаемо и грозно доносится из трубки. – Дитяtko хоть заплачет, чтобы мать услышала, а ты сутками напролет можешь работать, даже поесть забудешь, коль тебе не напомнить... А нынче, имей в виду, костюм тебе пойдем покупать. Я присмотрела. Старый замызгался, неприлично лоснится на локтях, а в брюках, стыдно сказать, сзади дырка. Куда годится!..» «Я сегодня никак не могу. Очень занят!» – возразит Репьёв, пытаясь сопротивляться бесцеремонному навязыванию чужой воли, но быстро сникает от неумолимости противостоящей стороны. «Ты всегда занят, и всегда – крайне, безотлагательно. Не спорь! Лучше не упорствуй, не упирайся. Ты меня знаешь – пустое это занятие и напрасная трата времени...»

В назначенный час Репьёв покорно маячит в условленном месте, сама безропотность и смирение, ибо долгим опытом усвоено с определенностью, не подлежащей иным толкованиям, сколь неразумно прибегать к уловкам, а также к самым изощренным ухищрениям и увиливаниям. Как мýку растягивать. Лучше малой кровью превозмочь и стерпеть...

Он стойко сносит ненавистную до отвращения толчею универмага, сопит натужно в примерочной кабине, то один натягивает костюм с ярким ярлыком на шнурке, то в другой облачается, переминается, дрогнет в трусах, пока Римма ещё выбирает на свой придирчивый вкус. Понятно, она тут же присутствует, оглядывает с пристрастием фасон, каждый шов и складку, не тесно ли в плечах, не жмёт ли в бедрах, а Репьёв смущённо отворачивается, застёгивая пуговицы брюк, конфузится.

Потом, мученически каменя лицом и стиснув зубы, он примеряет шляпу, у него хватает стойкости даже на галстук модной расцветки, но едва была предпринята попытка затащить в обувной отдел, как покладистый примеряльщик вывернулся, кинулся опростетью к выходу, пулей выскочил из универмага. Молоденькие продавщицы развели руками, поглядывая вслед, пожалы недоуменно плечами – диковинный случай!.. Рассказать кому-нибудь, что мужчине приодеть хотели, а он увёртывался, как будто кипятком ошпаренный, убежал прочь, ни за что не поверят.

Римма Михайловна, настигнув на улице беглеца, против ожидания не набрасывается на него с гневной отповедью за столь недостойное поведение, а преисполненная умиления, с облегчением произносит: «Удалось! Удалось-таки затащить тебя... Зато какой ценой! Каких невероятных, титанических усилий это потребовало... Какой беспримерный подвиг!»

Пристыженный Репьёв несколько смягчается, позволяет купить для себя сосисок и десяток диетических яиц, но в глазах его при этом появляется такая дремучая, безысходная тоска, что непреклонная женщина, чуткий стратег и тактик, чуть всполошившись, мгновенно перестраивается, сознавая с выверенной точностью, как важно не переусердствовать, не перегнуть палку в благих порывах...

Под каменной аркой при входе во двор они чинно прощаются, раскланиваются с трогательными реверансами, расходятся по своим квартирам, а на следующий день всё повторяется сызнова, будто по какому-то заведенному неукоснительному ритуалу... Остается, конечно, загадкой, областью досужих домыслов, как подобные взаимоотношения воспринимались главой новой семьи? Или так уж заведено: муж-голова что-то предполагает, зато жена-шея, как говорится, куда вздумает, туда и вертит-поворачивает?..

Ну а в кабинете светила хирургии происходило всё в точности так, как и представлялось. Римма Михайловна, слегка порозовев, что, впрочем, придавало ей особую привлекательность и обаяние, с непререкаемым спокойствием внушала хирургу, что движение её души – отнюдь не каприз, не взбалмошная блажь, а перст судьбы и веление эпохи.

– Вы, Георгий Ростиславович, только вы – и никто другой! – должны сделать эту операцию...

Хирург с мировым именем поглядывает невозмутимо, сохраняя стойко на скуластом волевом лице полную непроницаемость. Стенаниями, жалостливыми мольбами его не пронять. Тут он без преувеличения – скала, гранит, о который разбиваются вдребезги все домогательства толп осаждающих родственников, прочих ходатаев за недужных страдальцев в переполненном хирургическом отделении. Оно и понятно, при здравии мало берегли, больше поедом ели, допекали близкого человека, точно не будет ему износа, а как прозвенит последний звонок, тут и спохватятся радетели, засуетятся сердобольные, из кожи готовы

выскочить, звезду достать с небес – а что проку? Если удастся чем-то помочь, облегчить больному страдания, то это и без просителей, считай, счастье для каждого врачавателя, да, увы, не всесильна медицина... Чем тут можно утешить? При жизни, господа, нужно беречь человека, проявлять пыл нерастратченных чувств!..

– В клинике у нас прекрасные специалисты. Не та, знаете ли, сфера, чтобы недоучек держать и бездарей!..

– Разумеется, вы правы. Убийственно правы, и возразить нечего. Просто здесь особый, совершенно уникальный случай. Тут ваши золотые руки нужны, способные сотворить чудо, спасти, отвратить от бездны необыкновенного человека. Это у него в больничной карточке скромно записано – руководитель кружка во Дворце школьников, а на самом деле... Он – компаративист! Понимаете, просто гений, даже не из тех, что рождаются раз в сто лет, а каких не было и нет, хотя, к сожалению, как водится, непризнанный в нашем Отечестве...

Сказать по правде, при всей своей эрудиции, разносторонности познаний хирург с мировым именем слыхом не слыхивал, что такое компаративист. Более того, слово это настораживало, внушало какую-то безотчётную неприязнь, и предубеждение закрадывалось. Будто веяло от него чем-то предосудительным. Ох, уж эти непризнанные гении, властители дум, правдоискатели, преисполненные усердия в переливании из пустого в порожнее! Зато сколько амбиций, мнительностей, уязвленных гордынь; сколько ловцов самых заурядных, банальных почестей, материальных благ, медных труб и грубой лести...

– Извините, а вы Репьёву кем доводитеесь? – спросил Георгий Ростиславович неожиданно.

– Женой. Вернее, бывшей женой. Разве это имеет какое-нибудь значение?

Имеет, сударыня. Ещё как имеет! Хирургов хоть и представляют твердокаменными, бесчувственными, но чаще всего они до смешного сентиментальны и придерживаются самых строгих житейских правил, именуемых острословами «замшелым домостроем в онучах». Кому, милая дама, куртизанство и вольность нравов – утеха, а тут, простите, иного рода сумасбродство, которому не сподручно шагать стезею финтифлюшек.

– М-да, – проирижё он неопределенно, головой покачал, затем добавил, как отрезал: – Ничего конкретного сказать не могу, а тем паче – обещать. Мы ведь обследование ещё не завершили. Хотя со всей определённостью можно сказать – наш случай. Это отчасти должно вас ободрить, потому как мы располагаем уникальной методикой операции, какой, скажу без бахвальства, нигде в мире нет. У меня, между прочим, докторская диссертация на эту тему защищена...

– Спасибо вам! – растроганно воскликнула Римма Михайловна. – Я знала... Знала... Вы не откажитесь! Про хирургов говорят, что они жестокосердны, а у вас – душа... Вы спасёте. Непременно спасёте. Вы сотворите чудо... Спасибо вам!..

Она вскочила, торопливо раскланялась, совершенно ясно сознавая, сколь немного преуспела в лобовой атаке, сколь малодейственными оказались пущенные в ход обаяние и чары, которые не только не смогли растопить лед отстраненной неприступности, а сколько-нибудь расположить к благосклонности. Но с чего-то надобно начинать. Мужик, говорят, весьма и весьма крутой, от одного взгляда все трепещут...

А знаменитый крутой эскулап, оставшись один, пребывал, вопреки расхожей молве о непоколебимости гранита, в некотором замешательстве. Что за ерундень такая? – думал он про себя в расстроенных чувствах. – Ничего не обещал, не обнадёживал. Лишь про уникальную методику упомянул. Это факт, но отнюдь не повод для хвастовства или пустых обещаний. Всю жизнь исповедовал завещанный ещё старыми его учителями принцип: категоричный, пусть в самой жёсткой форме отказ милосердней, чем беспочвенные надежды... Крепко стоял на этой линии, хотя, похоже, в последнее время слабинку стал давать, бывает, что расчувствуется без особых на то причин. Неужто годы? Жена-то считает – сухарь. На днях прямо огорошила... Он старенькую мать к себе перевёз. Деревеньку, откуда сам родом, объявили бесперспективной. И так глухомань, непролазная грязь по колено, а тут ещё электричество отключили. Ни телевизора, ни холодильника, и в магазине хоть шаром покати. Все из деревни съехали, лишь несколько стариков остались помирать, да и те лишь, кому деваться некуда. Долго убеждал мать, но она всё отказывалась, не хотела стеснять, быть обузой. Кое-как внушил, пристыдив, что возводить напраслину на родных ей людей – великий грех. Перевёз, а дети, старший сын и дочь, вроде толковые росли, в английской школе – отличники, а бабушку в штывки встретили. Надулись сычами, не разговаривают, только фыркают, зачем, мол, эта глупая возня и свистопляска? Стыдить принимался – как вам не совестно! Сердце кровью обливается, стоит подумать, что ей там, в пустой избе, прозябать в холоде и голоде, одной-одинёшеньке, когда и слова доброго сказать некому. Отчего, непостижимо, такое бездушие? Такая пустота и такая чёрствость? В кого такие удались?.. А жена ему тут и заявила – не тебя ли напоминают? Подражали, во всем старались на тебя быть похожими, вот и преуспели... «Эк, не подозревал, – опешил он, растерявшись, – никак не думал, не гадал, кем, оказывается, прослыл при всех своих регалиях и лаврах!.. Неужто до такой степени жестокосерд?»

Он вышел из кабинета, намереваясь направиться в диагностический центр, чтобы опробовать новый компьютер – дар зарубежных коллег в знак признания заслуг, но, проходя по коридору, зачем-то заглянул в приоткрытую дверь одной из палат. Там недавняя посетительница, склонившись у изголовья больного, хотела было утереть украдкой краем платка припухшие от слез глаза, но, заметив невольного соглядатая, всполошилась, выпалила скороговоркой и, судя по всему, невпопад, не по теме прерванной беседы:

– Ты не отчаивайся, дорогой! Не паникуй... Рано ещё подводить итоги... И Георгий Ростиславович так считает. Не правда ли?

Она засуетилась, поспешно распрощалась, а вошедший заведующий хирургическим отделением неловко помялся у порога, вроде припоминая, о чём это он хотел спросить?

– Рассушивать, конечно, тут не приходится, – подтвердил он веско, сунув руки в карманы белого халата. – Последнее дело – впадать в отчаяние, в безысходном унынии скисать. Да и не по-мужски... Что-то я у вас спросить хотел... Ах, да... Простите за любопытство, что такое компаративист?

– Это вам Римма... Римма Михайловна, должно быть, сказала, – догадался Репьёв и охотно пояснил: – Слово несколько вычурное, хотя происхождением своим всего-то обязано одной из областей сравнительно-исторического языко-

знания. Такая есть наука, что изучает языки и сравнивает их в историческом, как говорится, аспекте.

– А-а... Понятно, – кивнул хирург головой, не выразив, правда, особого восторженного интереса, спросил скорее машинально, для приличия: – Английским владеете?

– Да, конечно.

– Для сравнения, поди, ещё какой-нибудь язык необходимо знать. Например немецкий?

– Знаю, конечно. Вы верно подметили суть науки, которой я занимаюсь, ибо всё, как известно, познается в сравнении. И языки в том числе.

– А ещё каким-нибудь владеете? – поинтересовался медицинский гений и добавил вроде без умысла, а получилось, будто с ехидцей: – Хинди, например?

– Да, знаю, – подтвердил Репьёв с невозмутимостью. – Довелось изучать, поскольку это всё языки, включая наш с вами, одной так называемой индоевропейской ветви.

– Выходит, корни русского, как и немецкого, английского, берут своё начало в Индии? Каким образом?

– Действительно, это с трудом укладывается в сознании, но сие, как говорится, непреложный факт, давно доказанный наукой.

– А цыганский знаете? Цыгане вроде как выходцы из Индии.

– И цыганский знаю. Индоевропейская ветвь – одна из самых плодovitых и развесистых, хотя и не единственная.

– А, скажем, китайский?

– И китайский знаю.

– А японский?

– И японский.

– А идиш?

– Идиш – родственник немецкому, как, допустим, греческий армянскому. Изучение родственных языков не составляет, как правило, особых затруднений.

– Сколько же вы всего языков знаете? – удивлённо спросил Георгий Ростиславович.

– По правде говоря, я как-то не предавался скрупулезным подсчётам, – отвечал Репьёв уклончиво.

– Ну, а всё-таки? Интересно. Знать другой язык, считается, всё равно, что прожить иную жизнь, а у вас их, выходит, сколько?

– Точную цифру сказать затруднительно. Какие-то языки лучше знаю, какие-то, понятно, хуже, а ещё, помимо живых языков, что поныне живут и здравствуют, изучал и «мёртвые» языки, которые употреблялись много веков назад. Причем есть и такие, знание которых в наше время вряд ли кто на земле сможет проверить.

– Сколько же приблизительно?

– С определённой можно лишь сказать, что счет следует вести на десятки.

– Вы знаете более десяти языков? – не скрывал своего изумления светило хирургии.

– Нет, лучше скажем так... Десять десятков окажется цифрой, пожалуй, несколько завышенной, а девять десятков – заниженной, поэтому ориентировочно где-то в этих пределах.

– Как, вы знаете около ста языков?! – не мог поверить заведующий столь необычному пациенту, готовящемуся к скорой операции, проходящему в отделении обследование и сдающему анализы. – И, обладая таким фантастическим капиталом знаний, вы работаете руководителем кружка во Дворце школьников?

– И это Римма Михайловна сообщила?

– В карточке записано, – вспомнил хирург, выгораживая недавно удалившуюся настырную посетительницу.

– Ничего зазорного в этой работе нет... Во-первых, всякая работа нужна и почитаема, а во-вторых, я вообще считаю, что каждый учёный должен непременно, в обязательном порядке приходить к детям, передавать знания из рук в руки – только при этом условии и будет настоящий толк. Когда каждое новое поколение не станет изобретать велосипед, начиная с нуля или, по крайней мере, с очень низкой точки отсчёта, не растраниживая понапрасну отпущенные годы на горький опыт проб и ошибок, а примет эстафету, приступая к собственному поиску на качественно новой ступени. Трудно преувеличить, на каком уровне развития в этом случае оказалось бы человечество!.. А то, как повелось, вся жизнь тратится бездарно на примитивный, самый, считай, неэффективный метод «тыка», а посему – если по большому счёту! – столь низкий от каждого человека за время его пребывания на земле коэффициент полезного действия. Самое удивительное, при всех несуразностях, бестолковщине, кознях злопыхателей ещё удаётся что-то сотворить, какие-то возникают идеи, новые технологии, веяния. Сложись иное положение – дух захватывает! – каких небывалых высот можно было бы достичь.

– Да, это верно. Если что-то получается, то у тех, как правило, кому повезло на учителей. Я и сам с благодарностью вспоминаю своих наставников, вот уж действительно кому было свойственно не по принуждению, а вошло в кровь и плоть – пестовать смену. Не нянькаться, а держать в суровом теле и в то же время проявлять заботу, искреннее участие...

– Понимаете, а моя наука вообще долгое время не признавалась, ложной считалась, подвергалась запретам, гонениям. Да и сейчас, когда времена вроде бы изменились, а всё равно дают о себе знать отторжение, неприязнь, косые взгляды... Новое восприятие сложно приживается, годы проходят, поколения сменяются... Конечно, теперь можно было бы в университете вести семинар, да мне, признаться, как-то не до этого... Времени нет... Каждая минута дорога... Такое ощущение, словно я всю жизнь только готовился, какой-то копил багаж и лишь теперь подступил к решению главных проблем.

– А в чем существо вашей науки? – спросил Георгий Ростиславович и предложил: – Давайте на балкон выйдем, свежим воздухом подышим, да вы меня чуточку просветите.

На просторном балконе они опустились в глубокие кресла. Клиника располагалась в живописной местности предгорий, и теперь пурпурные лучи заката окрашивали снежные шапки заоблачных пиков в розоватый цвет каких-то неистовых оттенков.

Репьёв долго, задумчиво смотрел на эту захватывающую картину, а потом признался:

– Мечтал когда-нибудь вскарабкаться с альпенштоком на одну из таких вершин, да всё недосуг было, так и не выбрался. По молодости думаешь, что жизнь длинная, до бесконечности долгая, надоест и пресытятся вдосталь хватит

времени, а оказалось – короче сокрушённого вздоха. О несбывшемся. О недосказанном, недоделанном. Что по силам было – и вполне мог, как долг велел!.. А будто только открыл глаза, и пора уже закрывать веки... Будущие поколения, несомненно, станут бережливей. Двадцатое столетие, если в чем преуспело, так лишь в расточительности, наплевательском отношении ко всему и вся, включая святая святых: к земле, воде и воздуху, к человеческой личности.

– Как он нам голову ни морочил, этот век-лиходей! – воскликнул обычно сдержанный хирург. – Если оглянуться с беспристрастностью назад, как положено на стыках эпох, чего только в наши бедные мозги ни вбивалось – от диктатуры пролетариата до сексуальной революции, а про нравственный закон внутри нас не то что стыдливо умалчивалось, но как-то и не говорилось... Эра Водолея, в которую мы вступаем, должна будет ответить на многие вопросы, поставленные ребром. Обречена ответить, ибо, похоже, у человечества не осталось иного выбора. Наша территория, считают звездочёты, занимает наилучшее для этого на земном шаре положение. Для жизни духа. Чтобы осуществился прорыв из замкнутого, порочного круга...

– Не приведи жить в эпоху перемен, говорили древние, а всё равно что-то внушает оптимизм. Человек уж так устроен – долго запрягает: силу инерции, равнодушия, лени ему невмочь одолеть, но если что-то поразит его – слово ль, случай, – он может всю свою жизнь круто перевернуть, переосмыслить, в корне переиначить. Не находите?

– Да, эта человеческая особенность меня тоже всегда поражала, когда вроде намек нет на поступательное движение – полный упадок, застой, и вдруг – небывалый взлёт. И чаще из-за какого-нибудь пустяка!..

– Я, к примеру, кружковцам моим часто рассказываю историю, которая на первый взгляд вроде не имеет к теме наших занятий никакого отношения. Это история про одного немецкого ученого, автора совершенно невероятной гипотезы тектоники литосферных плит, то есть строения земной коры. Научная эта идея прежде замалчивалась, едва ли не запретной темой слыла, крамолой, а теперь все о ней знают и воспринимают как должное.

– Это, кажется, предположение о том, как в глубокой древности разъехались земные континенты, составлявшие, по-видимому, одно целое? Свидетельство – очертания береговых линий по разным сторонам океанов, схожие, будто кто-то взял и разрезал некогда кусок картона ножницами.

– Верно... В детстве воспитанием мальчика, будущего ученого, занимался его старший брат. В традиционном тевтонском духе стремился сформировать без витания в облаках здравый смысл, педантизм, практичность... Он читал ему вслух какую-то книгу про Гренландию, столь занимательную и захватившую воображение мальчишки, что тот прочертил красным карандашом на географической карте, как со временем пересечёт остров ледяного безмолвия. А через двадцать лет в одиночку почти в точности осуществил эту мечту. И там, среди трескучих морозов, среди белых снегов и торосов, в голову ему пришла фантастическая догадка о разъехавшихся континентах... Поражает, сколь это очевидно, а из всех живших на земле людей додумался лишь один человек. Додумался, потом упорно стоял на своём наперекор общественному мнению, вопреки обструкции в научных кругах, поднимавших доклады на смех... Я ребятам рассказываю эту историю как наглядный пример того, что лишь к увлечённому человеку приходят

в голову кое-какие мысли, в том числе – самые невероятные, гениальные... А меня самого, честно сказать, не покидало странное ощущение, что и моя жизнь каким-то образом будет связана с этой историей. Так и вышло!..

– Вы лингвист, и к строению земной коры это вроде не имеет никакого отношения, – резонно заметил заведующий.

– Это и есть самое, наверное, примечательное... После института я занимался китайским языкознанием, корпел с прилежанием над реконструкцией праязыка на основе рифм древнего стихосложения, а потом в силу ряда обстоятельств участвовал в экспедиции по изучению северокавказских языков. Вот здесь-то и случилось что-то недоступное объяснениям. Занимаясь реконструкцией прародителей этих языков, стараясь заглянуть по мере отпущенных сил и способностей в глубь веков, я столкнулся с рядом закономерностей. Поначалу это воспринималось как казус, как серия случайностей, нечаянных совпадений, но дальше – больше. Прямо наваждение началось: в корнях древней лексики, хранившей память эпох до распространения письменности, наблюдались приметы сходства с сино-тибетскими культурными слоями, обнаружили черты их несомненного родства. Представляете, где находятся Тибет, Китай, а где проживают народы Северного Кавказа? В глубокой древности, когда основным средством передвижения был гужевой транспорт, говорить всерьёз о каких-либо контактах, тем более о взаимовлиянии с его помощью, разумеется, не приходится. Это просто в голове не укладывается, невозможно подыскать сколько-нибудь вразумительных объяснений. Но и это ещё не всё... На следующий год волей случая – того же неисповедимого случая! – мне довелось заниматься так называемыми енисейскими языками: хетским, сымским, имбатским, коттским, пумпокольским – и здесь в корнях этих слов просматривались обнаруженные ранее черты сходства, несомненного родства с сино-тибетскими и северокавказскими языками, будто в далекой древности они представляли собой ветви одного раскидистого дерева. Но я не переставал изумляться. Родственные приметы даже при беглом, поверхностном изучении обнаруживаются и в языке индейцев Северной Калифорнии. Не правда ли, всё это напоминает историю с разбегавшимися континентами?

– Просто невероятно! Это настоящее открытие, которое позволяет человечеству как-то по-иному взглянуть на себя. Вы где-нибудь докладывали об этом?

– Да, недавно крупный международный симпозиум компаративистов состоялся, я послал туда свой реферат и, говорят, настоящий фурор произвел в научных кругах, когда зачитали с трибуны.

– Зачитали? А автора не удосужились пригласить?

– Не знаю. Средств, наверное, не нашлось. Да и не в этом дело!..

– Теперь я, пожалуй, понимаю, – признался хирург, – причину столь пристрастного к вам отношения, я бы сказал, нескрываемого обожания Риммы Михайловны. А расстались почему? Не разлучаются, любя...

– Да и я её люблю... Любил и люблю по-прежнему... Понимаете, просто у меня уйма работы – невпроворот, с раннего утра до позднего вечера не поднять головы, сутками напролет, без выходных. Мне-то интересно, а ей за что такая немилость? Как жизни не видеть... За что, спрашивается, должна приносить себя в жертву? К тому же наука моя лишь на стадии становления. Ни должности, как говорится, ни приличной зарплаты со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями... Мне-то самому мало надобно, а её за что обделять?.. В

общем, я даже был рад, признаться, что она ушла, будто от каких-то обязательств меня освободила. Если уж не сумел принести ей счастья, то хоть препятствий не чинил. Она уже в нескольких зарубежных странах побывала, живет в полном достатке – супруг у неё заботливый, высокий пост занимает. Многие могут себе позволить, а это не может не радовать... Ко мне неплохо относятся, даже по-своему хлопочут, проявляют заботу. С одной стороны, конечно, излишняя опека досаждала, отвлекает от работы, а с другой стороны – трогательно...

– А с юными лингвистами в кружке вы чем занимаетесь?

– Языкам обучаю. Поначалу я взялся за это дело в силу безвыходности, когда гонения начались, преследования – к университетской кафедре близко не подходит, думать не смей. Пусть и скудный заработок, но всё равно – хлеб насущный. А потом по-настоящему увлекся. Дети – с их пытливостью, чутким восприятием – благодатная почва для знаний, буквально на лету всё схватывают. Понимаете, я новую методику придумал для изучения сразу нескольких языков. Суть в том, что знание, скажем, немецкого языка обеспечивает на треть знание английского. И так далее... Ребята у меня в самый короткий срок по нескольку языков усваивают...

– Вот бы и мне своих отпрысков к вам привести, – мечтательно произнес Георгий Ростиславович. – Одно общение с вами как бы могло их обогатить. Они у меня толковые, отличники, к языкам тянутся. Хорошо бы ещё, за душой что-нибудь важное водилось, а то ведь, знаете, как сейчас молодёжь ерунде поклоняется, перед рациональностью раболепствует.

– Да я бы с превеликим удовольствием, – кивнул согласно Репьёв, но замялся. – Хотя... Мне ведь операция предстоит. Неизвестно ещё, чем завершится...

– Ну, нашли чего опасаться!.. Прооперируем – и будете бегать как новый. Вы – наш классический случай... У нас, надобно заметить, уникальная методика, нигде в мире подобной нет, так что не дрейфьте... Особо не переживайте...

Слова хирурга звучали бодро, дарили желанную надежду, поддерживали, мол, повоюем – есть ещё время пожить, а не умирать до срока. Тем не менее, сомнений они не развеяли. Обычный, шитый белыми нитками врачебный приём для слабых духом! В ободрении он не испытывал особой нужды. Сумеет ли дело свое завершить? – вот что угнетало, и какое-то до дурноты истощное, дикое отчаяние захлестывало. И болезненный комок в животе от всех этих терзаний твердел, расширялся, делался ещё мучительнее, источал неприятный липкий холодок, от которого мурашки ползли по телу.

Вечерней свежестью повеяло, должно быть, прохладой ледников тянуло с гор. Небо из сиреневого быстро становилось лиловым, затем густым темно-фиолетовым. Первые звезды зажигались, изумительно сверкали в чистом, без единого облачка небе. Неожиданно то здесь, то там эти яркие угольки принялись срывать росчерками метеоритов, и Репьёв заметил, не сдержав сокрушенного вздоха:

– В эту пору особенно много бывает метеоритов. Август так и называют – месяц падающих звезд. Для меня это тоже всегда особенное время года. Каникулы, отпуск – столько всякого запланировал, столько думал осуществить... Научной работе хотелось придать более осмысленный, завершённый вид, даже не ради учёного звания... Куда важнее другое... Вы верно заметили, что человечество должно задуматься, какие пути выбирает, на многие вещи по-иному взглянуть

Мы ведь имеем довольно смутное представление – что такое человек, какова его природа, и, значит, сути не ведаем настоящего его назначения? Памятники письменности, какими бы древними ни были, слишком незначительны по возрасту, чтобы дать на это исчерпывающие ответы. Куда больше сведений можно извлечь из древней устной речи, заглянуть по её следам в прошлое, дойти, как говорится, до корней, до сердцевины, а потому – понять настоящее, услышать будущего зов... Если у разных народов, на разных континентах в языках обнаруживаются черты сходства, то, несомненно, существовал некогда их прапраязык, и вполне очевидно, что существовала и прародина. Где она великая прародина? Где объединяющая всех истина? Человек рождается с этим смутным предчувствием неразгаданного вопроса, что знакомо каждому с детства и не покидает до скончания дней, лишь затмевается умопомрачениями войн, смут, ожесточением сердец в бессмысленных дележах и распрях. Понимаете, а тут получило бы совершенно достоверное подтверждение, что, невзирая на различия рас, вероисповеданий, границ, все люди на земле – братья...

Чёрный бархат небосвода сиял над головой роскошью алмазных россыпей, а звёзды падали, падали, вызывая необъяснимый восторг, и как-то жутковато становилось, чуть тревожно и зябко, точно перед дальней, неведомой дорогой.

Плыл медовый и душный август.

Юрий Сальников родился в 1943 году в Омске. Окончил филологический факультет КазГУ. Первые рассказы публиковались в газетах «Казахстанская правда», «Ленинская смена», «Огни Алатау» и других. В 1981 году в издательстве «Жалын» вышла в свет книга прозы «Непутевая птица счастья». Издательством «Новая словесность» выпущено в свет более 20 книг повестей и рассказов Ю. Сальникова: «Мост вздохов», «Колокола осени», «Подсолнухи на балконе», сборники новелл «Звездное небо евразийства», «Степная кобылица в лиловых яблоках» и другие. В 2015 году в журнале «Простор» опубликована его повесть «Лодка скорби на зелени вод». Живет в Алматы.

